


Игорь Волгин. Еheu! (Марья Дмитриевна)

Рейтинг:  / 0

Автор: Игорь Волгин

Просмотров: 29

2021 год, Выпуск № 5

Глава из книги «**Родные и близкие**».

УЖАСНАЯ ЖЕНЩИНА

В «Сибирской тетради» Достоевского («моей тетрадке каторжной», как он ее называл) несколько раз встречается помета, которая из-за неясности написания многие годы не поддавалась расшифровке. Ее интерпретировали как «Елеи», «Елен» и даже «Елец» или просто заменяли точками – «ввиду неуверенности чтения». Наконец загадка разрешилась: интригующее слово было опознано как «eheu» – латинское междометие, обозначающее «увы» или «ах». Но выяснилось и другое. Практически все «eheu» так или иначе связаны с именем первой жены Достоевского. Этим горестным вздохом он отмечал самые драматические моменты их знакомства и брака.

В «Хронике» М. В. Волоцкого, где характеристике иных персонажей посвящены десятки страниц, Марье Дмитриевне Исаевой уделено ровно три строки, к тому же принадлежащих случайному наблюдателю: «Эту первую супругу нашего знаменитого писателя я видел только один раз в Москве, у Ивановых, и она на меня произвела впечатление в высшей степени болезненной и нервно-расстроенной женщины».

Автора «Хроники» можно понять. Его прежде всего интересуют генетика, биологическое родство, кровная родовая связь. Марья Дмитриевна не отвечает этим критериям. Тем более что у нее с Достоевским не было общих детей. Но ведь недаром изречено: «...оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт. 2:24).

Достоевскому некого было оставлять. Родителей к моменту женитьбы у него давно уже не было. С тем большей силой влекся он к той, которая смогла бы составить с ним не только «одну плоть», но, как он полагал, и единую душу. Узы, соединившие их двоих, оказались куда прочнее иных кровнородственных связей.

В годы, когда Волоцкой работал над «Хроникой», просвещенный мир имел довольно смутные понятия о первой жене Достоевского. Едва ли не единственным источником информации о ней были воспоминания Любоми Федоровны. Дочь писателя от второго брака писала их в Швейцарии в 1918–1919 годах по-французски. Впервые они были изданы в Мюнхене в 1920-м, а затем – переведены на многие европейские языки. Русский перевод появился в 1922 году, однако в сильно урезанном виде.

Публика, до сих пор мало что знавшая об интимных сторонах жизни писателя, но горячо жаждавшая восполнить этот пробел, не могла не довериться сведениям, исходившим от одного из членов семьи. А именно – что после каторги «от запоздалой юношеской незрелости» автора «Бедных людей» «не осталось и следа, он стал мужчиной и хотел любить». Публика вместе с автором воспоминаний уже готова была порадоваться за героя. Но. «Но какую ужасную женщину послала судьба моему отцу!»

Взыскательную дочь не устраивают ни характер, ни моральные качества Марьи Дмитриевны. Но прежде всего ее коробит антропология. Согласно уверениям Любови Федоровны, М. Д. Констант (девичья фамилия Исаевой) лишь выдавала себя за француженку. На самом же деле – «эта бесстыжая женщина была дочерью наполеоновского мамелюка, попавшего в плен во время бегства из Москвы...» Причем, счастливо унаследовав от матери ее русский тип, она тщательно скрывала от окружающих свое африканское происхождение (не в пример, скажем, «прекрасной креолке» Надежде Осиповне Ганнибал, чьи африканские черты неосторожно воспроизвел ее сын, «потомок негров безобразный»). Достоевский, таким образом, пал жертвой гнусного генетического обмана.

Новейшие разыскания позволяют, однако, значительно скорректировать эту впечатляющую картину.

В Россию переселился не отец, а дед Марьи Дмитриевны – Франсуа-Жером-Амадей де Констант. Он был отнюдь не наполеоновским мамелюком, а дворянином и капитаном королевской дворцовой гвардии; после падения Людовика XVI он покинул взбунтовавшееся отечество и, как многие другие эмигранты, был привечен щедрой российской императрицей (заболевшей, говорят, при известии о казни французского короля). Дед будущей жены Достоевского поступил на русскую службу, принял православие и новое имя: Степан. Женился он, однако, на француженке. Так что сын его, Дмитрий, отец Марии Дмитриевны, – чистокровный француз. В 1820 году Дмитрий Степанович недолгое время служит переводчиком в штабе генерала И. Н. Инзова, где в то же время и в том же качестве подвизается его одноклассник А. С. Пушкин. История, впрочем, умалчивает, были ли они знакомы.

Дмитрий Констант женится на русской дворянке по имени Софья Александровна (фамилия, увы, неизвестна). В 1824 году рождается дочь Мария. Когда она впервые встретит Достоевского, ей будет 29. В своих письмах из Сибири Достоевский всегда твердо указывает возраст избранницы – на три года меньше истинного. Эта хронологическая поправка, надо думать, заслуга самой Марьи Дмитриевны.

Родившись в Таганроге, она в 14 лет лишается матери. Семья переселяется в Астрахань, где Дмитрий Степанович занимает должность директора Карантинного дома. Марья Дмитриевна выходит замуж за А. И. Исаева, который, как и ее отец, служил по таможенной части. В 1851 году Исаева переводят в Сибирь.

Достоевский знакомится с их семейством буквально через два-три месяца после выхода из каторги и водворения в Семипалатинске. Он предчувствует, что приближается «к кризису всей моей жизни», что созрел для чего-то такого, что он именуется «может быть грозное, но во всяком случае неизбежное». Эпитеты, однако, имеют свойство материализоваться. Спустя два года в письме к Врангелю они будут приложены к уже совершившемуся: «О, не дай Господи никому этого страшного, грозного чувства».

Чувство между тем растет и делается неборимым. Федор Михайлович признается, что думал о самоубийстве – буквально (он, не сокрушенный эшафотом и Мертвым домом) и что для него нет выбора: «Или с ума сойду, или в Иртыш!» Так десятилетием ранее мнившийся ему неуспех «Бедных людей» тоже решительно сопрягается с отказом от жизни: «А не пристрою романа, так, может быть, и в Неву». Изменились, как видим, только топографические предпочтения.

Конечно, можно сказать, что все это литература. Но Достоевский по сути своей экстремал. Для него не существует промежуточных вариантов. И если о возможном провале первого своего романа он говорит: «Я не переживу смерти моей *idée fixe*», то тут есть сходство: его сибирский роман тоже первый и тоже владеет всем его существом.

ПИСЬМА К ОДИНОКОЙ ДЕВСТВЕННОЙ

Любовь Федоровна уверяет, что в двадцать лет ее отец жил «как святой». «К женскому обществу, – в свою очередь замечает домашний врач, наблюдавший Достоевского в молодости, – он всегда казался равнодушным и даже чуть ли не имел к нему какую-то антипатию». И раздумчиво добавляет: «Может быть, и в этом отношении он скрывал кое-что». Иные из позднейших биографов стараются развить этот тезис, горячо настаивая на том, что досибирский период жизни автора «Белых ночей» был «необычайно бурен в половом отношении». Эта ученая гипотеза столь же труднодоказуема, сколь и дочерние уверения прямо противоположного свойства.

Как бы то ни было, в письмах Достоевского сороковых годов мы не встретим ни одного женского имени, которое было бы названо под определенным ударением. (За исключением разве Авдотьи Панаевой, краткая и отчасти литературно окрашенная (жена поэта, вскоре подруга другого поэта) влюбленность в которую, кажется, никак не сказалась на его судьбе.) Это – разительный контраст с пушкинским или лермонтовским жизнеощущением. Мерной поступью минует Федор Достоевский пору, казалось бы, самой природой назначенную для романтических безумств и признаний. Во всяком случае, мы ничего не знаем о таковых.

О какой-либо интимной жизни на каторге говорить не приходится, хотя, как ни странно, она полностью не исключалась. Осведомленный наблюдатель, упомянув о калачницах – молодых бабах, продававших калачи арестантам у ворот острога, добавляет, что тут же завязывались романы, «развязка коих происходила во время работ в укромных местечках», и что подобное удовольствие ценилось недорого – «два-три гроша бабе». Если вспомнить описание «двугрошовых» в «Записках из Мертвого дома», то можно сказать, что версия Любви Федоровны относительно «святости» ее отца приложима именно к этой поре. Он провел в омской крепости четыре года; пенитенциарная система не знала еще практики личных свиданий. Да если бы даже они и были, кто бы к нему поехал? Да еще в этакую даль?

Итак, его обуревают предчувствия. Но до их исполнения еще есть время.

Получив разрешение жить вне казармы (но близ нее, под ответственность ротного командира), он за пять рублей в месяц – плата за помещение, стирку и стол – нанимает комнату в довольно убогой, стоящей на отшибе избе, единственным украшением которой можно почесть двух хозяйских дочерей, 20 и 16 лет. Старшая, по сдержанному свидетельству Врангеля, «ухаживала за Федором Михайловичем, и, кажется, с любовью, шила ему и мыла белье, готовила пищу и была неотлучно при нем». Летом вместе с сестрой она совершенно по-домашнему показывалась перед обоими друзьями «en grand negligé, то есть в одной рубашке, подпоясанная только красным кушаком, на голую ногу и с платочком на шее». Мемуарист не скрывает, что мать сестер, вдова-солдатка, «открыто эксплуатировала молодость и красоту дочерей». Когда Достоевский упрекнул ее в этом, особенно напирая на печальную участь очень красивой младшей, старуха ответствовала в том смысле, что дочь «все равно сошлась бы со временем с батальонным писарем или унтером за два пряника аль фунт орехов, а с вами, господами, и фортель, и честь!..» Нравы в Сибири были просты.

*Дождь на стеклах искажает лица
Двух сестер, сидящих у окна;
Переформировка длится, длится,
Никогда не кончится она, –*

это, разумеется, о другом, но тема – непреходяща.

Врангель не называет имен. Зато мы знаем, как звали двух других женщин, которые пользовались расположением Достоевского.

Первая – это 16–17-летняя Марина Ордынская, обладающая эффектной наружностью блондинка, дочь ссыльного поляка, который, овдовев, женился на собственной кухарке. Дочь, как Золушка, пребывала в небрежении и затрапезе. Достоевский – кстати, по просьбе М. Д. Исаевой, в чьем доме он знакомится с Мариной, – усердно занимается умственным развитием полячки-сибирячки. Повзрослев и похорошев, но не вооружась при этом скромностью, она «очень оживляла» Казаков сад – дачу, нанимаемую Врангелем, где летом обитал также и Достоевский и где, между прочим, присутствовали упомянутые выше дочери его квартирной хозяйки, помогавшие друзьям наладить холостяцкий быт. Марина «бегала, усиленно кокетничала и задорно заигрывала со своим учителем». Трудно сказать, остался ли наставник холоден к стараниям ученицы. (Местный краевед Б. Г. Герасимов простодушно сообщает, что Достоевский, подружившись с отцом Марины, «иногда оставался у него для своих занятий и даже на ночь».) Неприязнь его к полякам не распространялась на их дочерей. Врангель, по его собственному признанию, безуспешно пытался с помощью Марины отвлечь своего друга от предмета его «роковой страсти» – Исаевой, отъехавшей в Кузнецк. Интересно, что протее Марьи Дмитриевны позднее «не раз служила причиной ревности и раздора» между супругами.

С другой претенденткой на сердце рядового 7-го Сибирского линейного батальона дело обстоит сложнее. Известия о ее отношениях с Достоевским дошли до нас не совсем обычным путем.

В 1909 году сибирский литератор Н. В. Феоктистов знакомится в Семипалатинске с местной уроженкой, 72-летней Елизаветой Михайловной Неворотовой. То, о чем было поведано ему новой знакомой, он предал огласке только после ее смерти, в 1928-м, в журнале «Сибирские огни».

Семнадцатилетнюю Неворотову Достоевский впервые увидел на семипалатинском базаре, где она продавала хлеб с лотка. Очевидно, случилось это в первые дни пребывания Федора Михайловича на новом месте службы. Девушка была хороша собой, и «неудивительно, – пишет Феоктистов, несколько путаясь в стиле, – что Достоевский заметил ее и подошел к ней ближе, чем он обычно подходил к людям». Было бы удивительно, если бы он к ней не подошел.

Прекрасная калачница, ничуть не похожая на тех «лиц совмещенных профессий», которых он наблюдал в остроге, тем не менее тоже была, как выразился бы один его персонаж, «из простых-с». Достоевский писал ей письма: их было не менее восемнадцати (одно в стихах!). Неворотова хранила их всю жизнь. Она категорически отказывалась – даже за немалую для нее сумму в 500 рублей – предоставить их для печати. В мире литературном об этих письмах не ведал практически никто. Феоктистову, который добивался этой чести не один месяц, было дозволено лишь подержать в руках «довольно объемистую серую стопку исписанной бумаги». На первом листе он успел прочитать: «Милая Лизанька. Вчера я хотел увидеть Вас...» – фраза, чем-то напоминающая начало «Бедных людей»: «Бесценная моя Варвара Алексеевна! Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив!»

Был ли счастлив Достоевский?

Неворотова говорила Феоктистову, что Достоевский ее любил. Во всяком случае, кроме «Лизаньки» одной только женщине он посвящал стихи, а именно вдовствующей императрице. Но там были свои резоны. Автор статьи в «Сибирских огнях» не сомневается, что и Елизавета Михайловна «глубоко любила Достоевского». Верная своему чувству, она не вышла замуж и навсегда осталась старой девой.

«Одинокая девственница», как именует Неворотову одна из ее племянниц, была сиротой. У нее на руках остались малые братья и сестры: поднять их она почитала

своей обязанностью и долгом. Та же племянница (Н. Г. Никитина, в 1927 году пославшая свои заметки Феоктистову) уверяет, что в ответ на «полудетский лепет малограмотной женщины» Достоевский «иногда писал ей комплименты», но главным образом «тоном старшего» давал советы и наставления и «подкреплял ее в борьбе». Есть подозрение – и весьма основательное – что Никитина, несмотря на ее уверения в противном, самих писем никогда не читала: она говорит исключительно с тетких слов.

Сравнительно недавно было обнародовано еще одно свидетельство, относящееся также к 1927 году и принадлежащее семипалатинской жительнице, некой Губенко, к которой после смерти

Е. М. Неворотовой письма перешли «по родовой линии». Письма эти, как говорит Губенко, лично ею «хранились в отдельном портфеле и изредка прочитывались».

Но куда же они исчезли?

Осенью 1919 года в Семипалатинск входят красные – сформированная М. Н. Тухачевским 13-я Сибирская кавалерийская дивизия. В доме Никитиных, где при белых помещался штаб, учиняется обыск. Вместе с прочими бумагами изымаются и письма Достоевского. Уверения владельцев, что обнаруженные документы не имеют никакого отношения к политике, а принадлежат перу автора «Записок из Мертвого дома», не производят на обыскивающих ни малейшего впечатления. Дальнейшая судьба писем неизвестна.

О чем же сообщает Губенко, судя по всему, единственная читательница этой переписки? Ее информация, доверенная тому же Феоктистову, весьма отличается от тех сведений, которые он счел нужным предать огласке.

Заметим: в своих письмах, касающихся М. Д. Исаевой, Достоевский неоднократно повторяет: «Я честный человек». Он желает соизжить свои отношения с будущей женой именно на этом фундаменте. Но, как выясняется, с «Лизанькой» он ведет себя точно таким же образом. Губенко излагает содержание писем: «...признавался в любви Неворотовой и настойчиво искал ее руки, предлагая свою жизнь в помощь воспитания ее малолетних сестер».

Этот факт поразителен. Тридцатитрехлетний, все еще отбывающий наказание и лишенный гражданских прав рядовой, вчерашний каторжник без каких-либо видов на будущее – готов связать свою жизнь с юной девушкой из совершенно чуждой ему социальной и культурной среды. Трудно, почти невозможно представить этот гипотетический брак. Тем не менее вопрос был поставлен.

«...Во всех письмах Достоевского, – пишет Губенко, – было выражено чувство не как только к женщине, а как к человеку, в котором он искал найти не только женщину, а друга». Годилась ли Неворотова на эту роль? В момент знакомства оба они как бы уравниены силою обстоятельств. Но обстоятельства рано или поздно должны были измениться.

Елизавета Михайловна Неворотова говорила Губенко, что не могла устроить своего счастья, поскольку ей нужно было воспитывать сестер. Но ведь Достоевский как раз и хотел споспешествовать осуществлению этой задачи. Он не просто ищет ее руки. Он предлагает помощь: больше ему нечего предложить.

Мог ли еще не прощенный, отбывающий приговор политический преступник рассчитывать на то, что ему будет разрешено вступить в законный брак? Конечно, надежды возлагались на будущее. Но когда это будущее наступило, его сердце уже было занято.

«...Лучше бы никогда не любить»

О Марье Дмитриевне, как уже говорилось, известно сравнительно мало. Нет главного источника – ее собственных текстов. До нас не дошло ни одного ее послания к Достоевскому; вообще неизвестна ее переписка – за исключением единственного краткого послания к сестре. Из многочисленных писем Достоевского

к ней уцелело только одно. Между тем он писал ей в Кузнецк едва ли не с каждой почтой.

Куда исчезла эпистолярная? Сколь это ни прискорбно, приходится допустить, что хранительная рука Анны Григорьевны, ревностно оберегавшей мужнин архив, в этом случае дрогнула. Или, если угодно, стала еще более ревностной. Подлинное свидетельство другой любви и другого брака, как бы они ни были драгоценны для биографа, непереносимы для женщины любящей. Эти профессии не должны совпадать. Всегда есть опасность, что «вечно женственное» возобладает над скупым историческим долгом.

Очевидно, Анне Григорьевне было не слишком приятно читать появившиеся в 1912 году воспоминания 79-летнего А. Е. Врангеля, весьма расположенного к первой жене своего семипалатинского друга. Мужской взгляд мемуариста не обнаруживает в Марье Дмитриевне серьезных изъянов: «довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная». Благоклонен автор и к духовному облику героини: «начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна». Все это, несомненно, выделяло Марию Дмитриевну – полуфранцуженку, для которой язык светского общества был родным, – из среды провинциальных семипалатинских дам. Ее поклонник, в молодости свалившийся в обморок при виде светской красавицы (в старости в обморок будут падать перед ним – и преимущественно мужчины), и сейчас еще непривычен к дамскому обществу. Первый серьезный опыт – это Семипалатинск. Он встречает женщину умную, отзывчивую и, главное, близкого ему культурного круга. Если даже она не читала его ранних вещей, то по меньшей мере должна была слышать его имя. Семипалатинск, конечно, ссыльными не удивишь. Но бывшие петербургские литераторы, чья вина, в отличие от явных мятежников, не очень-то и понятна, попадают здесь нечасто. Автору «Бедных людей» не было надобности изображать из себя Грушницкого. Независимо от его прошлого его личность не могла не производить впечатления. Формально принадлежа к разряду нижних чинов, он принят не только в доме своего батальонного командира подполковника Белихова, но и в других весьма приличных домах. (Однажды, правда, ему, бывшему в гостях – в своем неизменном солдатском мундире, – в прихожей подставит плечи посчитавший его денщиком незнакомый офицер; Достоевский ловко снимет с него шинель, после чего оба чинно прошествуют в гостиную. Эпизод, напоминающий сцену из «Идиота», когда князь Мышкин, будучи у Иволгиных, подхватывает шубу Настасьи Филипповны, принявшей его за лакея.)

Именно в гостях у Белихова Достоевский и был замечен.

Муж Марьи Дмитриевны А. И. Исаев – а в браке они состоят около восьми лет – моложе Достоевского на год. Их сыну Павлу исполнилось шесть. Исаев служит по таможенной части и – сильно пьет. Достоевскому жаль Исаева. Но кто тогда в Семипалатинске не пил?

Все знавшие Достоевского утверждают, что он был равнодушен к спиртному и лишь изредка позволял себе рюмку-другую. Нет указаний, что он когда-либо отступал от этого правила. Тем удивительнее сообщение Губенко, основанное, по ее словам, на письмах Достоевского к Е. М. Неворотовой и рассказах последней, будто ее корреспондент «был склонен к употреблению спиртных напитков», сознавая при этом их пагубное действие, и что, по его мнению, согласие Неворотовой на их брак «кроме удовлетворения его чувственных качеств, спасает его и от алкоголя».

Либо Губенко все-таки не совсем точна, либо действительно в первые месяцы свободы Достоевский позволил себе поддаться национальной привычке. Во всяком случае, подобный период, если только он имел место, длился очень недолго. В

1856 году, излагая в одном из писем свои крайне грустные обстоятельства, Федор Михайлович восклицает: «Хоть вино начать пить!». Сам тон в данном случае демонстрирует зыбкость намерения. Трудно не согласиться с мнением, что, знаясь с Марьей Дмитриевной, он понимал, что потеряет любимую женщину, если будет демонстрировать тот же порок, какой вскоре сведет в могилу ее несчастного мужа.

Говоря о первой любви своего отца, Любовь Федоровна объясняет эту запоздалую страсть его медленным физическим созревaniem. Оно, как не без некоторой наивности полагает мемуаристка, завершается у северных русских мужчин не ранее 25 лет. Поэтому телесно-нравственное развитие юного Достоевского «было подобно развитию гимназиста», который восхищается женщинами на почтительном расстоянии, испытывая при этом страх и как бы не нуждаясь в сближении. «Период страстей, – докторально замечает Любовь Федоровна, – начинается у моего отца только после каторги, и тогда он уже не падает больше в обморок».

Да, публично таких казусов с ним больше не происходит. Но его состояние после разлуки с Исаевой близко к безумию.

«Я был поражен как громом, я зашатался, упал в обморок (упал-таки! – И. В.) и проплакал всю ночь... Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы никогда не любить».

Любила ли его Марья Дмитриевна?

Сам он в этом не сомневается. «Я знаю, что она меня любит», – напишет он Врангелю в марте 1856 года. И, адресуясь к тому же корреспонденту, повторит через девять лет, когда все уже будет кончено: «О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо».

Любопытно, что все это сообщается человеку, который был ближайшим свидетелем их романа (его начала) и, конечно, мог иметь о нем собственное мнение.

«В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, – пишет Врангель об отношении к нему будущей жены, – приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека». Мемуарист полагает, что это чувство сострадания Достоевский «принял за взаимную любовь».

Однако и сам Достоевский в своем единственном сохранившемся письме к Исаевой от 4 июня 1855 года подчеркивает именно это обстоятельство: «Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни». Он именует ее родной сестрой и всячески восхваляет ее высокие качества («удивительная женщина, сердце удивительной, младенческой доброты» и т. д.). Не следует удивляться тому, что интимный мотив старательно приглушен в этом дышащем сдерживаемой страстью послании. Достоевский адресуется к замужней даме, чей супруг является потенциальным и, как ни странно, доброжелательным читателем их переписки. Поэтому автор письма старается соблюсти верную тональность. «Я не мог не привязаться к Вашему дому...»: как раз дом интересуется его в последнюю очередь.

Врангель замечает, что Марья Дмитриевна, возможно, тоже привязалась к Достоевскому. Но, решительно добавляет он, «влюблена в него ничуть не была».

Некоторые признаки указывают, однако, на то, что высокая степень близости между будущими супругами была достигнута еще до отъезда Марьи Дмитриевны в мае 1855 года в Кузнецк, куда получил назначение А. И. Исаев.

Описывая сцену разлуки («Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок»), Врангель скромно добавляет, что, «желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной», он, Врангель, «здорово накатал шампанским ее муженька». После чего перетянул в свой экипаж, где Исаев «скоро

и заснул как убитый»; Достоевский в свою очередь перебрался к отъезжающей. Чем не сюжет для куртуазного романа?

«Еheu», – отметит он вынужденную разлуку.

Через десять месяцев, мучимый ревностью, он напишет Врангелю: «О друг мой! Мне ли оставить ее или другому отдать. Ведь я на нее имею права, слышите, права!» Конечно, источники этих прав могут быть весьма широкого, в том числе чисто морального, свойства. Однако недаром Достоевский подчеркивает ключевые слова – в письме к человеку, который знал все. Но ревность Федора Михайловича относится уже не к мужу.

Александр Исаев скончается через два месяца после переезда в Кузнецк, в возрасте тридцати трех лет. Достоевский будет искренне сожалеть о его печальной судьбе («Еheu»). При этом он не может не понимать, что эта смерть способна коренным образом изменить его жизнь.

«Предусмотрительно она уже подыскивала себе второго супруга, – уличает Любовь Федоровна еще не овдовевшую М. Д. Исаеву. – Достоевский казался ей лучшей партией в городе: он был очень одаренным писателем, у него была в Москве богатая тетка, посылавшая ему теперь все чаще деньги».

Трудно сказать, чего в этих утверждениях больше – наивности или неправды. Одаренность Достоевского в забытом Богом Семипалатинске мало кого волновала. Тем более что у него пока нет позволения печататься. Что же касается «богатой тетки», то Куманины если и помогают, то в очень скромных размерах (крупную сумму они пожертвуют только на свадьбу). Несмотря на материальную поддержку старшего брата (тоже довольно умеренную), Достоевский испытывает хроническое безденежье. Он даже занимает деньги у Врангеля – чтобы послать их в Кузнецк оставшейся после смерти мужа без каких-либо средств Марье Дмитриевне.

И, наконец, самое главное. «Выгодный жених» все еще остается ссыльным солдатом, изгоем, лишенным дворянства. Будущее его более чем неопределенно. Конечно, смерть императора Николая Павловича, случившаяся в феврале 1855 года, в самый разгар как Крымской войны, так и семипалатинского романа, дает основание для надежды. Недаром с такой жадностью ловит Достоевский слухи, связанные с заключением мира и предстоящей коронацией, то есть с событиями, влекущими обычные в таких случаях высочайшие милости. Не без лирической натуги он сочиняет стихи (о них говорилось выше), предназначенные вдовствующей императрице. Он прекрасно сознает свое положение. «Ведь не за солдата же выйти ей», – пишет он Врангелю: речь идет о намерении кузнецкой подруги вступить в новый брак.

Именно последнее известие повергает Достоевского в состояние шока – с обмороком, рыданиями, с отчаянием («Еheu»). Сообщая эти подробности, он употребляет 62 восклицательных и 31 вопросительный знак; такой взрыв эмоций – редкость даже для него. Правда, Марья Дмитриевна лишь туманно предположила, что может найтись человек «пожилой, с добрыми качествами, служащий, обеспеченный». И что ежели таковой человек найдется, ей будет безразлично мнение на этот счет Достоевского, которого она между тем искренне любит. Но пока вопрошаемый впадает в исступление от этой дружеской просьбы (впрочем, в глубине души сознавая ее условность: «не верю я в жениха кузнецкого!»), в Кузнецке нарисовался реальный соперник: бедный, но молодой.

СЧАСТЛИВЧИК ВЕРГУНОВ

24-летний учитель Николай Борисович Вергунов моложе Исаевой на восемь лет (впрочем, благодаря невинным хитростям последней он полагает, что на пять). Они сходятся на педагогической почве: он учит ее сына Пашу, она дает ему уроки французского. Их связь, насколько можно судить, исполнена страсти. Возможно, в посланиях из Кузнецка осторожно намекалось на этот роман. Недаром их

семипалатинский адресат признается: «...Я ревную ее ко всякому имени, которое упомянет она в своем письме». Но как бы то ни было, Достоевского, совершившего в июне 1856 года отчаянный (не санкционированный начальством) вояж в Кузнецк, ожидает страшный удар. Об этом он повествует в совершенно шиллеровских тонах: «Что за благородная, что за ангельская душа! Она плакала, целовала мои руки, но она любит другого». Он не подозревает, что очень похожая сцена с пугающей неизбежностью повторится через семь лет, когда, на крыльях любви примчавшись в Париж, он услышит из уст Аполлинарии Суловой (правда, уже без слез и целования рук) ужасную весть, что он опоздал.

Можно представить, сколь титаническими были предпринятые им усилия, если после двух дней его пребывания в Кузнецке «ее сердце опять обратилось» к нему. В ход, очевидно, было пущено все – от грозных пророчеств о подстерегающей безрассудных любовников нищете (как будто у него самого положение было прочнее!) до возможных, предвидимых в будущем оскорблений со стороны молодого супруга – вроде того, что стареющая жена возжелала «сладострастно заесть» чужую еще не отцветшую юность.

Достоевский возвращается в Семипалатинск «с полной надеждой».

Отсутствующий, однако, всегда неправ. Сердце Марьи Дмитриевны качнулось обратно – в сторону Вергунова, который поначалу согласился было с доводами семипалатинского визитера и уже готов был уступить поле боя. «С ним я сошелся, – говорит о сопернике Достоевский, – он плакал у меня, но он только и умеет плакать!»

В историко-биографической литературе давно утвердилась манера трактовать молодого возлюбленного Исаевой как совершенно бесцветное существо, одолеть которое будущему автору «Преступления и наказания» не составляло большого труда. Как бы само собой разумеется, что, кроме физических достоинств (которые определяются в основном словом «красавец», прилагаемым к герою Любовью Федоровной, никогда не видевшей его), Вергунову якобы нечего противопоставить победительному обаянию Достоевского. Однако обнародованные сравнительно недавно архивные документы способны сильно поколебать эту успокоительную концепцию.

Во-первых, выясняется: скромный уездный учитель не столь уж безлик. Он дерзко вступает в заведомо безнадежный спор с непосредственным начальством – смотрителем местных училищ, стремясь прежде всего отстоять свое человеческое достоинство. (Правда, этот конфликт случится лишь в 1863 году, но надо полагать, что предшествующие семь лет не слишком изменят стиль поведения и личность Николая Борисовича.) На упреки куратора в невыполнении им, Вергуновым, педагогического долга он не без некоторого высокомерия отвечает, что «десятилетняя служба моя и формулярный список, которыми я постоянно аттестован “способен и достоин”, могут вывести Вас из того заблуждения, в которое Вы впали, вероятно, в запальчивости...» Претензии смотрителя училищ Вергунов почитает «уже не за личное оскорбление, а официальное». Он указывает вышестоящему чиновнику, что «законами Российской империи начальствующим лицам не дано право, право оскорблять подчиненных, в какой бы зависимости они ни были». Разумеется, подобный тон, равно как и «система доказательств», не могли вызвать у адресата, от которого не в последнюю очередь зависела карьера Вергунова, особых к нему симпатий.

В общем, въедливый Николай Борисович – а ему в ту позднюю пору исполнится уже тридцать один – заражен несвойственной его чину и возрасту амбициозностью. Отвергая еще одно обвинение (в невежливости), он наставительно указывает смотрителю училищ, что «даже в простом быту, а не только в обществах образованных входящий в частный дом или общественное заведение, какого рода

оно бы ни было, обязан предварительно поклониться и тем, в первом случае, – оказать привет хозяину, а во-вторых, – обществу, с которым желает провести время». Но увы! Посетивший его в училище адресат этих обвинений не счел нужным руководствоваться столь простыми и очевидными правилами. «Вы, к сожалению, этих условий не соблюдаете, а снявши галоши и шинель, едва-едва поклонились учащимся, а не только мне – меня вы и не заметили. Следовательно, с моей стороны не было ничего ни неприличного, ни невежливого».

Это – характер. Можно аттестовать его как заносчивый и занудный, а можно – как весьма и весьма уязвимый. Во всяком случае, тут вопиет самолюбие. Не схожа ли в чем-то эта административная полемика с давней почтовой дуэлью между молодым Достоевским и его опекуном П. А. Карепиным, когда для одного из корреспондентов важен не столько практический результат, сколько нравственная победа?

Итак, Вергунов умел не только «плакать». И его «ругательное» (не дошедшее до нас) письмо к Достоевскому, у которого он при личной их встрече «сам просил... и дружбы и братства» (опять сугубо шиллеровский мотив!), – более адекватный ответ на призывы одуматься и не обречь Марью Дмитриевну на «вечный Кузнецк», нежели рыдания на груди увещевателя. Реакция Вергунова, который, очевидно, как и в будущем своем конфликте со зрителем училищ, примет внушаемые ему советы «за личность и за оскорбление», отнюдь не признак «дурного сердца», что было предположено Достоевским. Скорее, это естественная самозащита.

Конечно, автор «Белых ночей», как и годы спустя в случае с «победившим» его любовником Суловой Сальвадором, мог тешить себя мыслью, что Вергунов «не Лермонтов». Но это было утешением слабым.

Счастье ускользает из рук – и Достоевский меняет тактику. К изумлению (как можно предположить) обладающего связями Врангеля, он просит барона походатайствовать перед высшим начальством за своего молодого соперника («хвалите его на чем свет стоит») – приискать Вергунову приличное место и приличное жалованье. «Это все для нее, для нее одной. Хоть бы в бедности-то она не была, вот что!»

Эти заботы принято квалифицировать как порыв чистейшего альтруизма – стремление к тому, чтобы даже в ненавистном для просителя браке любимая женщина не испытывала тягот и нужд. И, конечно же, приходит на ум благородный Иван Петрович из «Униженных и оскорбленных», усердно хлопочущий о счастье любимой им Наташи с молодым князем Валковским.

Все это так. Нет никаких оснований сомневаться ни в искренности Достоевского, ни в чистоте его помыслов. И все же, устраивая судьбу Вергунова, он в глубине души не мог не сознавать, что его благодеяния будут расценены именно как его благодеяния. Что они зримые доказательства его могущества и способности влиять на людские судьбы. Ему, а не Вергунову будет обязана избавлением от нищеты Марья Дмитриевна – и кто знает, не переменятся ли в этой связи ее матримониальные планы.

До нас, как уже говорилось, не дошла интенсивнейшая переписка между Семипалатинском и Кузнецком лета – осени 1856 года. Отсутствуют также косвенные сведения, которые обычно можно извлечь из писем Достоевского к Врангелю: в их эпистолярной случился некоторый перерыв. Но можно сказать, что вплоть до конца ноября брачная перспектива для Семипалатинска не просматривается. «...Есть ли надежда, нет ли, мне все равно, – пишет Достоевский. – Я ни об чем более не думаю. Только бы видеть ее, только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком виде есть болезнь». Но преданность, упорство, настойчивость и усиливаемая расстоянием страсть приносят свои плоды. Речь о Вергунове как муже уже не идет. И подоспевшее наконец производство в

первый офицерский чин окончательно склоняет чашу весов в пользу новоиспеченного прапорщика.

«Чего доброго, – говаривал он в молодости, – женят меня еще на какой-нибудь француженке, и тогда придется проститься навсегда с русскою литературой!» Женитьба на полуфранцуженке оставляла родной словесности какой-то шанс.

Но следовало еще объясниться с братом.

«РЕШЕНИЕ МОЁ НЕИЗМЕНИМО...»

Впервые о существовании невесты Михаил Михайлович узнает из письма Федора Достоевского от 13–18 января 1856 года. Иными словами, почти полтора года, пока длился роман, брату о нем ничего не было известно. Представление об Исаевой он получает одновременно с твердо заявленным намерением младшего брата вступить в брак.

Как и следовало ожидать, Михаила Михайловича не приводят в восторг эти сибирские грезы. «Не скрою от тебя, друг мой, что твое желание сильно меня испугало», – пишет он Федору Михайловичу, хотя и добившемуся микроскопического продвижения по службе, но все еще лишенному гражданских прав. Он понимает, что унтер-офицеру самому не поднять семьи, и предвидимые тяготы будут возложены на его, Михаила Михайловича, братские плечи. Разумеется, в своем письме он находит другие, однако не менее впечатляющие аргументы. «Я боюсь за тот путь, на который ты вступаешь, путь самых мелких прозаических забот, грошевых треволнений, одним словом за эту мелкую монету жизни, на которую ты разменяешь свои червонцы. Выдержишь ли ты все это? Не упадешь ли ты духом?» Брат умоляет брата одуматься и не жениться – «до тех пор, пока не устроятся твои обстоятельства».

Еще не дождавшись реакции корреспондента, Федор Достоевский настоятельно просит Михаила озаботиться тем, чтобы в случае поступления малолетнего Паши Исаева в Павловский корпус (намерение не осуществилось) мальчик был бы забираем по воскресеньям в семейство брата, дабы это общение благотворным образом сказывалось на нравственности ребенка. «Не объел же бы тебя бедненький сиротка. А за сиротку тебе Бог еще больше подаст», – вдохновляет он своего адресата.

Но это еще не все. Брат Федор с горячностью призывает брата Мишу написать незнакомой тому Марье Дмитриевне теплое душевное письмо – с изъявлением благодарности за ее внимание к «бедному изгнаннику» и с готовностью в свою очередь «облегчить одиночество» ее ребенку, буде таковой окажется в Петербурге. Федор Михайлович простирает свое попечительство до того, что легким пером набрасывает подробный конспект (своего рода «рыбу») этого почти что родственного послания, после чего великодушно доверяет брату «покороче и получше» составить окончательный текст.

Отговаривая брата Федора от женитьбы, Михаил Михайлович прибегает еще к одному неотразимому, как ему кажется, аргументу: «Тебе 35 лет, но этого-то я и боюсь, мой бесценный. В эти годы уже нет той энергии. Тело просит покоя и удобств».

Федор Достоевский хорошо запомнит это братское назидание. (Интересно, что говорилось бы Михаилом Михайловичем через одиннадцать лет, доживи он до новой свадьбы своего брата!) Спустя полгода, сообщая ему о предстоящей женитьбе («...не пробуй меня отговаривать. Решение мое неизменимо»), Федор Михайлович добавляет: «Я уверен, ты скажешь, что в 36 лет тело просит уже покоя, а тяжело навязывать себе обузу. На это я ничего отвечать не буду». Надо думать, сей реприманд навсегда отвратил тонко чувствующего Михаила Михайловича от дачи подобных советов.

Позднее старший будет исправно выполнять семейственные поручения младшего брата, как то: приискание шляпки для Марьи Дмитриевны, пока супруги ждут в Твери разрешения на въезд в Петербург (куда, кстати, таганрогская уроженка въезжает впервые). «Шляпка должна быть серенькая или сиреневая, безо всяких украшений и цац, без цветов, одним словом, как можно проще, дешевле и изящнее (отнюдь не белая) – расхожая в полном смысле слова». При этом строго указывается, что ленты необходимы исключительно «с продольными мелкими полосками серенькими и беленькими».

Вспоминал ли автор, сочиняя свою инструкцию, скромную Вареньку Доброселову, перед свадьбой требующую от бедного Макара Девушкина позаботиться о «фальбале»: «Да еще: буквы для вензелей на платках вышивать тамбуром; слышите ли? тамбуром, а не гладью. Смотрите же не забудьте, что тамбуром!»

Но вернемся к письму брату Михаилу от 22 декабря 1856 года, где содержится известие о женитьбе.

Свое письмо Федор Достоевский пишет в знаменательную для него годовщину. Ровно семь лет назад – 22 декабря 1849 года – он был выведен на Семеновский плац. И именно в этот день им было написано: «Брат, любезный друг мой! все решено!» Ныне, 22 декабря 1856 года, он мог бы повторить те же самые слова. Или – прибегнуть к цитате, если бы, конечно, этот пушкинский текст был к тому времени обнаружен: «Участь моя решена. Я женюсь...»

Клеймя ничтожного Вергунова, Любовь Федоровна не упоминает о том, что именно Вергунов был на свадьбе «поручитель по женихе», иными словами – шафер. Так достигает кульминации навязывая в зубах шиллеровская тема. Конечно, в этом трагикомическом надрыве можно при желании усмотреть и «типичные признаки» того, что именуется достоевщиной. Но куда интересней сокрытый в этом событии смысл. А именно: кузнецкий брак стал возможен благодаря тайному «сговору трех».

21 декабря 1856 года, сообщая Врангелю о свадьбе как о деле решенном, Достоевский пишет: «Она (Марья Дмитриевна. – И. В.) меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом по письмам ее я знал это». Но если так, то тем самым подтверждается наше предположение, что просьбы о содействии Вергунову, изложенные как раз в том самом летнем письме, были, так сказать, средством двойного назначения: призванным, с одной стороны, помочь тому, о ком пекутся, а с другой – обеспечить моральное превосходство просителя.

Теперь, в декабре, Достоевский вновь возвращается к этому же сюжету. «Прошу Вас на коленях», – пишет он Врангелю, употребив наивысшую из находящихся в его распоряжении эпистолярных эмоций. Он вновь ходатайствует за соперника, ибо «теперь он мне дороже брата родного». О «дурном сердце» ныне не поминается вовсе. Напротив: «О Вергунове не грешно просить: он того стоит». Стоит сам по себе, независимо от поставленной некогда, а ныне неактуальной цели – осчастливить его будущую супругу.

Что же, однако, такого случилось с названным выше лицом, если оно удостоивается подобных похвал? Достоевский был в Кузнецке в конце ноября. Тогда им и было сделано официальное предложение Марье Дмитриевне. И «теперь» Вергунов ему «дороже брата родного».

Нет сомнения: Вергунов отступился. И сделал это достаточно благородным образом. Так или иначе, хлопоты за него Достоевского выглядят именно как отступные.

«Слишком долго, – замечается о Вергунове, – рассказывать мои отношения к нему». Оговорка многозначительная. Достоевский, впрочем, и не рассказывает.

Врангель, на которого возлагаются комиссии относительно Вергунова, не извещается о том, какую роль играл последний при заключении брака. Брату же, с которым автор письма, как правило, откровенен, лишь кратко сообщается, что шаферами были «порядочные довольно люди, простые и добрые».

В «Обыске брачном № 17» кузнецкой Одигитриевской церкви означено, что «все показанное здесь о женихе и невесте справедливо, в том удостоверяют свою подписью как они сами, так и по каждом поручители, с тем, что если что окажется ложным, то подписавшиеся повинны за то суду по правилам церковным и по законам гражданским». Эта хотя и рутинная, но не лишённая остротки формула не смогла оградить документ от вкравшихся в него, мягко выражаясь, неточностей. Против пункта третьего – «Возраст к супружеству имеют совершенный, и именно жених тридцати четырех лет, невеста двадцати девяти лет, и оба находятся в здравом уме» – нечего возразить, кроме, пожалуй, того рассуждения, что невесте, как мы знаем, все же 32 года, да и жениху не 34, а 35. К пункту шестому, констатирующему: «Как жених, так и невеста родителей в живых не имеют», следовало бы добавить, что у невесты отец, слава богу, жив, он пребывает в Астрахани и худо-бедно поддерживает дочь материально.

Что же касается пункта седьмого – «По троекратному оглашению, сделанному в означенной церкви, препятствий к сему браку никакого никем не объявлено», то это сущая правда: о препятствиях будет объявлено гораздо позднее.

ПРИЗНАНИЕ В НЕВЕРНОСТИ

Любовь Федоровна заявит на всю Европу: «Ночь накануне свадьбы Мария Дмитриевна провела у своего любовника...» Кто мог, однако, быть источником этой эксклюзивной информации, кроме самого Достоевского?

Вообще, хотя воспоминания Любви Федоровны и изобилуют ошибками, специально она ничего не придумывает (за исключением разве своих генеалогических гипотез относительно норманно-литовского происхождения предков). Говоря о первой жене Достоевского, она, конечно, транслирует мнение его второй жены и известные этому источнику факты. Что ж, Анна Григорьевна из лучших побуждений иногда подчищала биографию мужа. Однако мы не знаем примеров сознательных фальсификаций с ее стороны. Поэтому можно предположить, что в откровениях Л. Ф. Достоевской наличествуют следы некоего устного предания – хотя и искаженного давностью лет, но имеющего внутрисемейные корни.

До самого последнего времени такое допущение с негодованием отвергалось. Как злостный вымысел расценивались утверждения дочери писателя, что его первая жена «тайно под покровом темноты посещала своего красавца-учителя, последовавшего за ней в Семипалатинск». Глухо признавался только тот факт, что Вергунов «приезжал к молодоженам» и что Достоевский «отнесся подозрительно (! – И. В.) к его приезду».

Недавно обнародованные документы позволяют вернуться к этой деликатной материи.

Достоевский венчается с Марьей Дмитриевной 6 февраля 1857 года, и в середине месяца молодые уже покидают Кузнецк. Но едва ли не на следующий день после их отъезда (а точнее, 17 февраля!) затевается дело об официальном перемещении Вергунова в Семипалатинск, где он благополучно и водворяется не позднее лета того же года.

В этой связи – еще один удивительный факт. Супруги Достоевские проведут в Семипалатинске более двух лет. Но о том лице, которое теперь Достоевскому «дороже брата родного» и которое проживает с его семейством бок о бок, больше не будет сказано ни слова. Ни в переписке самого Достоевского, ни в

воспоминаниях тех, кто оказались очевидцами его семипалатинской жизни. Был ли Вергунов вхож к молодоженам, или же ему было отказано от семейного дома, соблюдал ли он дистанцию или только видимость таковой – об этом ничего не известно. Но ведь не сквозь землю же он провалился. В городе с населением в пять тысяч человек разминуться довольно трудно.

«Молчание о Вергунове» очень красноречиво.

Нельзя не согласиться, что безоглядный порыв молодого учителя, при первой возможности ринувшегося за уже не принадлежащим ему предметом страсти, не может не вызвать сочувствия и известного уважения. Вергунов выполнил главное условие договора: отказался от притязаний на руку Марьи Дмитриевны. Насчет сердца речь, скорее всего, не шла. Шестьсот верст между Кузнецком и Семипалатинском делали излишним обсуждение темы. Но приезд Вергунова, конечно, менял ситуацию – и не в пользу Достоевского.

Никто и никогда (мы имеем в виду специалистов) не принимал всерьез «инсинуации» Любви Федоровны – что якобы летом 1859 года, когда чета Достоевских совершала четырехтысячекилометровый переезд из Семипалатинска в Тверь, за ними на расстоянии одной почтовой станции неотступно следовал Вергунов (чьего имени, кстати, мемуаристка не знает, обходясь универсальной формулой «красавец-учитель»). Ибо его Марья Дмитриевна «всюду возила с собой, как собачонку». На каждой станции ему оставлялись «написанные второпях любовные записки» с точными инструкциями о маршруте. «Что за удовольствие получала эта белокожая негритянка, – восклицает дочь благородных викингов, – видя по-детски счастливое лицо своего бедного мужа-писателя».

Ни в одном из источников мы не найдем намеков, могущих хотя бы косвенно подтвердить эту в высшей степени волнительную историю. Правда, дотошные новокузнецкие разыскатели недавно установили: незадолго до отъезда Достоевских из Семипалатинска в Тверь Вергунов подает рапорт об увольнении его в отпуск в Томск – «на все вакационное время». Неясно, пребывал ли он в июле – августе именно в Томске или проследовал в какие-то другие края. Выходит, что стопроцентного алиби у Вергунова все-таки нет.

Но каким образом узнал Достоевский убийственные для него подробности? Любовь Федоровна не оставляет читателя в неведении на этот счет. Она утверждает, что незадолго до смерти Марьи Дмитриевны Вергунов навестил умирающую, которая, снедаемая чахоткой, покинула Петербург и проживала во Владимире и в Москве. («Ежен. Отъезд М<аши>», – пометил Достоевский 6 сентября 1860 года.) Для этого он специально наведился «на материк» из Сибири. «Кашляющая и харкающая кровью женщина скоро стала вызывать отвращение у своего молодого любовника», и он покинул ее. Это событие настолько потрясло отчаявшуюся любовницу, что во время одной из семейных сцен она открылась обманутому супругу, «рассказав во всех подробностях историю своей любви к молодому учителю». Мало того, «с утонченной жестокостью» она поведала мужу, как они вместе с соперником «веселились и насмеялись» над ним, «призналась, что никогда не любила его и вышла замуж только по расчету».

Запомним, что эти откровения вырвались у Марьи Дмитриевны в момент ссоры, в состоянии сильнейшей экзальтации.

«Бедный отец! – восклицает попечительная дочь. – Сердце его разрывалось, когда он слушал безумную исповедь своей жены».

Осторожное предположение новокузнецких исследователей, что семидневный домашний арест учителя Вергунова в 1864 году, о причинах которого архивные документы умалчивают, был вызван какой-то его самовольной отлучкой – возможно, поездкой к умирающей Марье Дмитриевне, – эта гипотеза, хотя и эффектна, но, увы, малодостоверна. Ибо весьма затруднительно при тогдашних

средствах сообщения и ничтожном учительском жалованье осуществить такой отчаянный прыжок – из глубин Западной Сибири в Центральную Россию. А вот то, что во время одной из ссор выведенная из себя больная открыла глаза недостойному супругу, – вероятность этого весьма велика.

Но тут возникает вопрос.

Способна ли Марья Дмитриевна, не сумевшая или не захотевшая летом 1856 года скрыть от потенциального жениха своей новой привязанности, уже после брака долгое время вести столь хитрую и расчетливую игру? Достоевский, конечно, как он сам признавался, был прост, однако не до такой же степени.

«Она никогда не имела тайн от меня», – писал он Врангелю еще в период своего жениховства. Привычно добавляя: «О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»

И в письме старшему брату сразу же после свадьбы: «Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; прошлая жизнь ее оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не перестает быть доброю и благородною».

Из этих текстов – даже если учесть некоторые преувеличения, извинительные, впрочем, для человека, пребывающего под впечатлением медового месяца, – можно понять, что Марья Дмитриевна скорее непосредственна, нежели скрытна, коварна, зла «и лайй». Ее душевная организация просто не рассчитана на интригу, подобную той, о которой повествует Любовь Федоровна.

До нас дошел только один текст, собственноручно написанный Марьей Дмитриевной. Это несколько строк, обращенных к ее сестре Варваре (они приписаны к отправляемому в Астрахань Д. С. Константу, их отцу, почтительно-родственному письму Достоевского). Новобрачная пишет: «Скажу тебе, Варя, откровенно – если б я не была так счастлива и за себя, и за судьбу Паши, то, право, нужно было поссориться с тобою, как с недоброю сестрою, но в счастье мы всё прощаем. Я не только любима и балуема своим умным, добрым, влюбленным в меня мужем, – даже уважаема и его родными. Письма их так милы и приветливы, что, право, остальное стало для меня трин-травой. Столько я получила подарков, и все один другого лучше, что теперь будь покойна, придется мало тебя беспокоить своими поручениями».

Приписка М. Д. Достоевской, замечает А. С. Долинин, показывает, «что это была женщина образованная, чувствительная и вполне “ровня” своему знаменитому мужу». Не возражая в общем против подобной оценки (хотя, признаться, особую образованность здесь усмотреть трудно), добавим, что в настоящем случае был бы уместен, например, когнитивный анализ. Этот небольшой по объему текст позволяет тем не менее разглядеть в авторе натуру непосредственную и в то же время амбициозную. «Сверхзадача» письма – как можно чувствительнее уязвить родную сестру в отместку за ее молчание, невнимание и прочие действительные или мнимые прегрешения. Причем сделать это чисто по-женски, как бы снисходя с высоты собственного благополучия, своего не вызывающего сомнений личного счастья. Марья Дмитриевна, готовая было поссориться с «недоброю сестрою», великодушно прощает ее, потому что в свете нынешнего своего положения она может не замечать холодности сестры. Что значат эти небрежности в сравнении с «умным, добрым, влюбленным в меня» мужем, а тем паче – с уважением его московской и петербургской родни? Их письма «так милы и приветливы» – очевидно, не чета сестринским. Тем более что новые родственники завалили Марью Дмитриевну таким количеством подарков («и все один другого лучше»), что теперь – «будь покойна!» – у нее нет надобности обращаться с подобными просьбами к черствой и неотзывчивой родственнице.

Все это, высказанное, как кажется автору письма, не без тонкого ехидства, на самом деле очень бесхитро и наивно. Может ли такая женщина длительное

время таить свои чувства и вести двойную игру? Кстати, героини, в которых так или иначе отразились черты Марьи Дмитриевны, менее всего способны на перманентный обман.

Теперь допустим, что Марья Дмитриевна действительно сделала мужу свои страшные признания. Но вот она умирает – и обманутый супруг, казалось бы, должен теперь пересмотреть свои «итоговые оценки», с горестью принять то, о чем спустя полвека заявит воспоминательница-дочь: «Эту мегеру он считал любящей и преданной женой!»

Но – ничуть не бывало. Ровно через год после смерти Марьи Дмитриевны Достоевский напишет Врангелю, что хотя он и знал, что жена умирает, «но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею». Да, он не отрицает, что они были «положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру)», однако «мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу». Ему ли не знать сближающую силу страдания?

Конечно, исходя из этих глухих намеков, теоретически можно предположить: Достоевский знал все. И его христианское всепрощение (вариант: писательское всепонимание) простиралось до такой степени, что он жертвовал личным счастьем для блага ближнего, в роли какового в настоящем случае подвизалась его собственная жена. Это допущение ничем не хуже уверений одного из его героев, что он свою супругу любил, но после ее измены стал еще уважать.

Непреложно одно. По завершении этого брака он говорит то же, о чем толковал в самом начале: «Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь». Он не разочаровался в своей избраннице – и никогда не отзывался о ней худо. Во всяком случае, в письменном виде. Но, может быть, с Анной Григорьевной он более откровенен? И может, именно здесь сокрыт источник той информации, которой впоследствии поразит публику добросовестная Любовь Федоровна?

Надо ли ставить памятник бывшим женам?

«Я пробовала расспрашивать его об умершей жене, – сдержанно замечает в своих мемуарах Анна Григорьевна, – но он не любил о ней вспоминать. Любопытно, что и в дальнейшей нашей супружеской жизни Федор Михайлович никогда не говорил о Марии Дмитриевне...»

Это не совсем так.

О том, что автор «Игрока» был женат, Анна Григорьевна узнала еще во время их совместных диктовок в октябре 1866 года. Через год в своем женевском стенографическом дневнике она вспоминает, как Достоевский тогда сказал ей, что его жена «была страшная ревнивица», и продемонстрировал ее портрет. Изображение Анне Григорьевне не понравилось: «какая-то старая, страшная, почти мертвая». Достоевский объяснил, что фотография сделана за год до смерти. Автор дневника добавляет, что первая жена «очень злая была и раздражительная; по его рассказам это видно тоже, хотя он и говорил, что был с нею счастлив».

Итак, речь о Марье Дмитриевне все же заходила – и тогда, в период знакомства, и сейчас, когда заканчивался первый год их супружества. И если Врангелю можно признаться, что они с Марьей Дмитриевной были «положительно несчастны вместе», молодой жене знать об этом совершенно не обязательно. По официальной версии – первый брак удался.

«Сегодня мы говорили о его прежней жизни и Марии Дмитриевне, – понятными только ей стенографическими знаками записывает Анна Григорьевна, – и он толковал, что ей непременно следует поставить памятник». Это намерение не нравится Анне Григорьевне («Не знаю, за что только?» – искренне добавляет она).

ибо за предшественницей не признается каких-либо особых заслуг. Далее следует фраза еще более замечательная: «Федя толковал, что его похоронят в Москве, но так решительно не будет». Та, которой предстоит прожить с Достоевским еще тринадцать лет, точно знает, с кем рядом ему положено лежать. Они должны покоиться вместе. Так оно в конце концов и случится, хотя путь к этому окажется совсем не таким простым, как ей представлялось.

Анна Григорьевна приводит в дневнике одну любопытную подробность. Она говорит, что, касаясь прошлого, муж рассказывал ей «о своих изменах». И в связи с этим осудительно замечает, что если бы он любил первую жену, то не стал бы ей изменять. Иначе «что это за любовь, когда при ней (очевидно, при жене. – И. В.) возможно любить и другого человека, да не только одного, а нескольких». Интересно, что в этом рассуждении об изменах употреблено множественное число: вероятно, наряду с А. П. Суловой могли называться и другие, неведомые нам имена. Неудивительно, что, когда Достоевский получает за границей письмо от «друга вечного», мучимой ревностью Анне Григорьевне начинает мерещиться, что Сулова самолично явилась в Швейцарию, «и вот они оба считают, что могут обманывать меня, как прежде обманывал Марию Дмитриевну».

О том, что Марья Дмитриевна могла обманывать Достоевского, Анна Григорьевна не упоминает нигде – ни в дневниках («зашифрованных» так, что можно было не опасаться нескромного взгляда), ни в письмах, ни в каких-либо записях «для себя». Учítывая крайне раздражавшее ее обстоятельство, что свою первую жену Достоевский имел обыкновение ставить в пример (очевидно, в воспитательных целях), она не преминула бы зафиксировать столь впечатляющий компромат. Тем более что со временем муж стал с ней вполне откровенен.

В своих воспоминаниях Анна Григорьевна останавливается на эпизоде, когда весной 1868 года, после смерти их первого ребенка, трехмесячной Сони, они покинули Женеву и направились в Веве. И тут, на пароходе, впервые за все время их семейной жизни Достоевский возопил. Анна Григорьевна «услышала его горькие жалобы на судьбу, всю жизнь его преследовавшую». Упомянуто было и первое супружество: «Говорил о своих мечтах найти в браке своем с Марьей Дмитриевной столь желанное семейное счастье, которое, увы, не осуществилось: детей от Марии Дмитриевны он не имел», а из-за ее характера был «очень несчастлив». Среди этих откровений должно было бы непременно присутствовать самое важное – о Вергунове. Но его нет.

Притом что другие подробности Анне Григорьевне были ведомы.

По уверению Любови Федоровны, ее отец «с грустью... повторял позорные слова Марии Дмитриевны: “Ни одна женщина не полюбит бывшего каторжника”». Это не злостная выдумка мемуаристки. Подтверждение этих слов мы находим в дневниковой записи двадцатилетней Анны Григорьевны: «Ведь вот Мария Дмитриевна ругала его каторжником, подлецом, колодником, и ей все сходило с рук».

Вот он – первоисточник. Хотя дочь и не читала стенографических дневников своей матери, именно у нее она черпает свою информацию. Почему же, повторим еще раз, в записях Анны Григорьевны нет никаких следов другой истории – с красавцем-учителем, столь выигрышной, чтобы унижить соперницу?

Но посмотрим внимательнее.

Приведя «цитату» из Марьи Дмитриевны – о том, что нельзя любить бывшего каторжника, Любовь Федоровна комментирует ее следующим образом: «Лишь дочь раба могла следовать этому принципу лакейской души; подобная мысль никогда не зародилась бы в великодушной европейской душе». У самой Анны Григорьевны мы не найдем таких глобальных нравственно-антропологических обобщений. Вполне бесхитростно она приводит следующий диалог. Однажды во время семейной

ссоры, ответствуя на упрек Достоевского, что его никто не обзывал оскорбительными словами, находчивая Анна Григорьевна вспоминает покойную Марью Дмитриевну. Ибо она «его и каторжником ругала». Что же отвечает Федор Михайлович на этот убедительный довод? Автор дневника аккуратно фиксирует его прямую речь:

«— Ругала она и хуже, но ведь все знают, что она из ума выжила, как говорят в народе, что она была полоумная, а в последний год и совсем ума не было, ведь она и чертей выгоняла, так что с нее спрашивать».

Нелишне еще раз убедиться, сколь многое зависит от контекста. Ругательства Марьи Дмитриевны обретают в свете сказанного Достоевским совсем иной характер, нежели тот, который через десятилетия старается придать им Любовь Федоровна. В ее изложении – это сознательные оскорбления, исходящие от злой и неблагодарной особы, «дочери раба, следующей принципу лакейской души». Но разве так трактует их Достоевский? Он-то как раз находит оправдание своей оскорбительнице – в ее крайне болезненном состоянии, в психической неадекватности и т. д. – «так что с нее спрашивать». То, что у Любви Федоровны выглядит как криминал, у Достоевского вызывает только жалость.

И еще одно важное признание зафиксировано в женевском дневнике. Достоевский говорит, что Марье Дмитриевне «уж года 3 до смерти представлялись разные вещи, виделось то, чего вовсе и не было. Например, представлялся какой-нибудь человек, и она уверяла, что такой человек был, между тем решительно никого не было». Он приводит конкретный образчик ее фантазий: «...Она ужасно не любила свою сестру Варвару (что подтверждается, в частности, проанализированным выше ее письмом к последней. – И. В.), говорила, что она была в связи с ее первым мужем (то есть с А. И. Исаевым! – И. В.), чего вовсе никогда не было».

Возможно, именно здесь находится ключ к разгадке.

«Маша лежит на столе»

Известно, что и внешность, и характер Марьи Дмитриевны отразились в образах двух Катерин – жены Мармеладова из «Преступления и наказания» и Катерины Ивановны Верховцевой из «Братьев Карамазовых». Но вот что говорит Достоевский об этом психологическом типе в последней, предсмертной своей тетради: «Катерина Ивановна. Самосочинение. Человек всю жизнь не живет, а сочиняет себя, самосочиняется».

Если иметь в виду состояние Марьи Дмитриевны в ее последние годы – «фантастичность», ревность, желание отомстить неверному мужу и т. д.

и т. п., то вполне закономерен и творимый ею романтический миф: везде и всюду сопровождающий ее и преданный ей любовник. «Вечный Вергунов» – это то оружие, которым можно поразить легкомысленного супруга. Это возможность доказать, что она тоже любима, что ею восхищаются и ей верны. В этом смысле Вергунов выполняет функцию «танца с шалью», который Катерина Ивановна («Преступление и наказание») исполняла на выпуске, при губернаторе. Незримый любовник – тоже знак иной, достойной ее и благосклонной к ней жизни. Он оправдание ее неудачного брака, ее горестей и болезней. Его нельзя выгнать из комнаты, как тех чертей, ибо он ее последний и, пожалуй, единственный козырь.

«Чухоточную и обвинять нельзя в ее расположении духа», – скажет Достоевский в одном из писем.

Поведанный некогда Достоевским Анне Григорьевне бред бедной больной, пройдя ряд трансформаций, обретает право на жизнь в мемуарной прозе Любви Федоровны.

Даже если Марья Дмитриевна действительно призналась мужу в этой роковой страсти, у него не было оснований менять свое отношение к ней. Он слишком

хорошо знал ее «фантастический» характер. Он сохранит в своей памяти и постарается донести до других ее идеальный образ – тот, который привлек его с самого начала и который «в высшем смысле» остался таким навсегда.

Он не оставит ее до последнего дня.

Перевезя жену из Владимира в Москву в ноябре 1863 года, Достоевский почти неотлучно находится при ней. Здесь, в двух шагах от ее постели, пишутся «Записки из подполья». Здесь он постоянно занят делами «Эпохи», издание которой настоятельно требует его присутствия в Петербурге. Но, понимая, что у жены нет шансов, Достоевский жертвует всем остальным.

А. Н. Майков, посетивший Достоевского в Москве в январе 1864 года, пишет своей супруге: «Марья Дмитриевна ужасно как еще сделалась с виду-то хуже: желта, кости да кожа, просто смерть на лице. Очень, очень мне обрадовалась, о тебе расспрашивала, но кашель обуздывал ее болтливость. Федор Михайлович все ее тешит разными вздориками, портмонеичиками, шкатулочками и т. п., и она, по-видимому, ими очень довольна. Картину вообще они представляют грустную: она в чахотке, а с ним припадки падучей». Достоевский «тешит» безнадежно больную: последнее, что он может для нее сделать. Но и она в свою последнюю минуту не забывает о нем.

Анна Григорьевна излагает в дневнике рассказ мужа – как он в день смерти первой жены «все сидел у нее», отлучился на минуту к Ивановым (семейство сестры проживало рядом), и, когда вернулся, все было кончено. «Перед смертью она причастилась, спросила, подали ли Федору Михайловичу кушать и доволен ли он был, потом упала на постель и умерла». Женщина, честившая его каторжником и другими обидными словами и признававшаяся в ужасных изменах, в смертный свой час, приобщившись святых тайн, не забывает осведомиться о том, пообедал ли он и остался ли доволен обедом. Его земное благополучие занимает ее не менее, чем спасение собственной души.

«Жена умирает, буквально, – пишет Достоевский брату 2 апреля 1864 года. – Каждый день бывает момент, что ждем ее смерти. Страдания ее ужасны и отзываются на мне, потому что...» Он обрывает фразу, ибо не может да, наверно, и не хочет высказать на бумаге то, о чем думает постоянно. Его не оставляет чувство вины. Оно движет его пером, когда 16 апреля 1864 года, на следующий день после ее кончины, он заносит в свою записную тетрадь:

«Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?

Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, – невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. <...> Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовь в жертву своего я людям или другому существу (я и Маша), он чувствует страдание и назвал это состояние грехом».

«Христианский идеал» противоположен человеческой натуре. Но во что превратился бы человек, если бы он следовал исключительно велениям этой самой природы (то есть тому, на что ориентированы, скажем, современное массовое сознание и массовая культура)? Вербально смысл такого превращения сформулирован героем повести, которую Достоевский пишет в эти не лучшие для себя дни: «Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

«Возлюбить ближнего» может не каждый. Но следует ли поэтому отказываться от самой мысли? «Основная идея и всегда должна быть недостижимо выше, чем возможность ее исполнения, например христианство», – записывает он «для себя». Он мучительно ощущает этот разрыв. «Я и Маша» – никто из них не осуществил «заповеди Христовой», и тому, кто остался жить, не уйти от чувства страдания и греха.

«Еще», – ставит он рядом с записью о покойной жене.

И, наконец, хочется сказать об одном поразительном совпадении. 15 апреля 1864 года, за несколько часов до кончины жены, Достоевский пишет старшему брату: «Вчера с Марьей Дмитриевной сделался решительный припадок: хлынула горлом кровь и начала заливать грудь и душить». Проходит семнадцать лет – и 28 января 1881 года, за три часа до собственной смерти, он диктует Анне Григорьевне «бюллетень» – письмо к графине Е. Н. Гейден (где говорит о себе в третьем лице): «26-го числа в легких лопнула артерия и залила наконец легкие. После 1-го припадка последовал другой, уже вечером, с чрезвычайной потерей крови с задушением». Достоевский говорит о своих предсмертных страданиях почти теми же словами, что и о предсмертных страданиях жены. «Мы все ждали кончины», – пишет он Михаилу Михайловичу. И – о себе, графине Гейден: «С 1/4 <часа> Федор Михайлович был в полном убеждении, что умрет...» И в том и в другом случае он оказался прав.